

Зинаида Николаевна Гиппиус

Дмитрий Мережковский

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-94
ББК 63.3-8

Зинаида Николаевна Гиппиус

Дмитрий Мережковский / Зинаида Николаевна Гиппиус – М.: Книга по Требованию, 2011. – 166 с.

ISBN 978-5-4241-1513-4

Зинаида Гиппиус - одна из ярчайших фигур русского декаданса. Поэт, критик (под псевдонимом Антон Крайний), публицист, прозаик.

Долгое время произведения З.Гиппиус были практические неизвестны на родине писательницы, которую она покинула в годы гражданской войны.

ISBN 978-5-4241-1513-4

© Издание на русском языке, оформление, «

YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «

Книга по Требованию», 2011

Зинаида ГИППИУС
ДМИТРИЙ МЕРЕЖКОВСКИЙ

Париж

3 июня 1943 г.

четверг

Воскресение

Мне хочется сегодня начать мою тяжелую работу — эту запись. Хотя бы несколько слов написать. Продолжать буду после. Завтра — или через год (е. б. ж., как прибавлял Толстой, начиная что-нибудь писать, — в последние годы. «Если буду жив...»)

Все жены людей, более или менее замечательных, писали свои о них воспоминания, печатали письма. Последнего я бы не сделала, если бы имела фактическую возможность. Я ее не имею — почему — скажу потом. Трудно мне и писать воспоминания, делаю это из чувства долга. Трудно по двум причинам: во-первых — со дня смерти Дмитрия С. Мережковского прошло лишь около двух лет, а это для меня срок слишком короткий, тем более, что мне кажется, что это произошло вчера, или даже сегодня утром. Вторая причина: мы прожили с Д. С. Мережковским 52 года, не разлучаясь, со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день. Поэтому, говоря о нем, мне нужно будет говорить и о себе, — о нас. Говорить же о себе мне в высшей степени неприятно — было и есть. Те, кто читал мою книгу воспоминаний о некоторых моих (и общих) друзьях («Живые лица» — Блок, Брюсов, Розанов и др.), могут заметить, что там я особенно избегаю говорить о себе — да и не там только.

Связанность наших жизней (и не одна внешняя) и останавливалася меня. Но потом я поняла, что, отказавшись от задачи написать то, чего от меня ждут, я поступлю эгоистично. И, наконец, если я буду писать свободно, не думая о препятствиях, — кто и что мне может помешать выкинуть из рукописи все, что будет для меня звучать неприятно. На случай внезапной смерти моей — оставлю указания и отметы. Но эта книга пускай будет написана с полной свободой, и ее точное название — ОН и МЫ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Фактические сведения о себе Д. С. Мережковский дал сам в двух своих биографиях: одна, давняя, приложена к полному собранию его сочинений — передвойной 14 года. Другая — напечатана в одной из парижских русских газет, уже в эмиграции, в 1935 г., когда был его 70-летний юбилей. Тоже написанная, по чьей-то просьбе, им самим.¹ Но лучше всего третья, это его «Старинные октавы», поэма, вошедшая в полное собрание его сочинений. Там — очень правдивое изображение его детства, юности, семьи. Там дана, кроме сухих сведений, атмосфера, в которой он рос, и, конечно, образ матери.

К его биографии я поэтому буду лишь возвращаться попутно и, когда придется, дополнять кое-что по его рассказам. Мать его умерла 20 марта 1889 года, т. е. через два с половиной месяца после нашей свадьбы (8 января 1889 г.) и моего приезда в Петербург. Я ее часто видела и могла понять удивительную взаимную любовь ее и его, для меня, впрочем, не очень удивительную, так как я так же глубоко любила свою мать. Отец Д. С. прожил еще около 20 лет, — умер в 1908 году, тоже в марте, в СПБ, — мы тогда жили в Париже.

Только благодаря матери Д. С. мог добиться согласия отца на свою женитьбу и обещания выдавать ему ежемесячно известную сумму денег на житье. До женитьбы он жил в семье, в большой квартире на Знаменской, где, кажется, жил еще кто-то из братьев. Из них Д. С. был младший, после него была только одна сестра Вера. Всех сестер было три. Что касается братьев — их было шесть человек.

Ни с одним из них Д. С. не был близок. Да и все эти девять человек не были, кажется, близки друг другу. Семья держалась только благодаря матери, вечной заступнице перед суровым отцом, и с ее смертью, естественно, распалась. Об отце, которого я знала, я скажу впоследствии. Он был очень богат, но взрослым детям от этого было не легче. Отец, по принципу, считал, что каждый должен сам зарабатывать и жить на собственные деньги. Дочерей он спешил выдать замуж. Давал ли он им какое-нибудь приданое — я не знаю. Он считался скучным, но скучность его была какая-то особенная, ее трудно определить. Человек, во всяком случае, с большим характером. Жену он любил безгранично, но и мучил достаточно — все из-за детей. У нее тоже был характер, и, когда ей что-нибудь казалось нужным, она, не жалея себя, добивалась, чего хотела. Младший сын, Дмитрий, был ее любимцем. И если отец дал ему кое-что на первое обзаведение и затем ассигновал на житье какую-то сумму, то это лишь благодаря ей. Если бы не она — наша свадьба была бы отложена на неопределенное время, так как у меня не было ничего, мы жили на пенсию матери после умершего в 1881 г. отца, — он служил в судебном ведомстве. В этом году закончилась и карьера Сергея Ивановича Мережковского: после убийства Александра II он, в чине действительного тайного советника, вышел в отставку. Какое точно место занимал он в Дворцовом ведомстве при Александре II — я не умею сказать. В биографии Д. С. это определено. Знаю, что семья жила на казенной квартире на набережной, а летом — на Елагине, в доме около Елагинского дворца, где 2 августа 1865 г.

Дмитрий С. и родился. Он очень любил Елагин остров и много рассказывал о том, как он в детстве проводил там лето, показывал мне даже деревья, на которые залезал с книжкой, чтобы быть совсем одному. В «Старинных октавах» много об этом и об Амалии Христиановне, бонне-немке, часто остававшейся, и одной, со всей этой кучей детей. Потому, что отец, по долгу службы сопровождавший нередко двор за границу — например, больную жену Александра II или наследника, непременно брал с собою и жену, с которой не мог расстаться. Она покидала всех детей и ехала с ним, хотя, может быть, это и было ей тяжело. Об ее отъездах и приездах опять-таки сказано в «Октавах». В одно из материнских отсутствий младший сын, Дмитрий, еще совсем маленький, заболел дифтеритом. Тут уж мать прилетела и сама выходила его. С этого случая, кажется, и стал он ее любимцем, и началась их особенная взаимная любовь.

Я не пишу собственно биографию, ни его — ни мою, хотя в общем рассказе буду более или менее последовательна. Ради этой последовательности рассказа мне надо коснуться нашей встречи, случайной или провиденциальной (это как угодно), для которой нужна была целая цепь событий в его жизни, как и в моей, и без которых она не могла бы произойти.

Как сказано выше, мой отец служил в судебном ведомстве. Начал службу он рано, кончив Московский университет, и был товарищем прокурора в Туле (или, кажется, еще только кандидатом, начал же службу после своей ранней женитьбы, в Белеве, где я родилась). В Тулу он был переведен тотчас после моего рождения). С матерью моей, сибирячкой, он встретился до Белева, в Туле. Семья моего отца была московская, т. е. семья немецкая — кажется, из Мекленбурга (не знаю точно), переселившаяся в Москву в шестнадцатом веке (1534 г.), где родоначальник открыл, в Немецкой слободе, первый книжный магазин.

Отцу еще не было 30 лет, когда его назначили товарищем обер-прокурора Сената. Мы переехали в Петербург (из Харькова), но туберкулез отца не позволил ему там долго оставаться. Пришлось «перемениться» (не знаю точно, но это случалось) с чиновником на юге, и отец сделался председателем Суда в Нежине (где воспитывался Гоголь), где он от острого туберкулеза через несколько лет и умер. Мать перевезла тело в Москву, куда и мы все вскорости переехали. (С нами жила незамужняя сестра матери, бабушка, и были уже у меня три маленькие сестры, одна даже грудная.) По переезде в Москву, где жила grand'maman, мать отца, мать отдала меня в частную классическую гимназию Фишер на Остоженке, где мы и поселились. Мне шел одиннадцатый год.

Классическая гимназия была дорога и потому тяжела для матери, но она помнила, что отец не хотел отдавать меня в «простую» гимназию (это его предубеждение было, может быть, тогда по времени), институт же, после неудачного опыта с киевским, еще при жизни отца, был для меня невозможен и нежелателен. Мать и тогда, в Нежине, лишь уступая отцу, отвезла меня в Киев и предчувствовала, что из этого ничего не выйдет. Моя привязанность к отцу и к ней была такая страстная, что разлуки я пережить не могла, почти все время провела в институтской больнице, — отец уступил, и меня вернули домой. Мой отец был не суров, но строг и требователен. Когда он был чем-нибудь недоволен — он переставал обращать на меня внимание, и я знала, что необходимо идти просить прощения. После — все выяснялось, и мы опять были «друзья». Именно друзья, потому что он говорил со мной обычно как с «правной», с большой

(а я была так мала, что в институте меня называли «маленький человек с большим горем», и, кажется, все, начиная с *grand'maman*, были рады, когда меня взяли домой). Дома — в Нежине — первый период моего «домашнего воспитания»: куча учителей из Гоголевского института. Помню одного, русского языка, которого я любила и спрашивала: «А вы знаете еще другую маленькую девочку, которая умела бы так писать, — без одной ошибки?» Гоголя я уже знала, — отец был его поклонником и даже устроил два любительских спектакля (играли его сослуживцы), чтобы в городском сквере этого городишки был поставлен бюст Гоголю. Он и был поставлен. Театра там, конечно, не было, играли в зале Гоголевского института, а репетиции все происходили у нас.

В одном только отец не мог меня переупрямить: я ненавидела гувернанток, особенно немок, и не желала учиться немецкому языку. И гувернантки-немки у нас не уживались. Положим, и были они неудачны, даже бонны. Если бы попалась такая Амалия Христиановна, которой в «Октаавах» поет «хвалу» Д. С. Мережковский, — было бы, м. б., все другое.

Классическая гимназия мне очень нравилась. Я была второй ученицей, но из этого тоже ничего не вышло, хотя по другой причине, чем из Киевского института. Я заболела, врачи нашли у меня начало туберкулезного процесса (к ужасу матери, боявшейся наследственности) и запретили мне выходить зимой. Гимназию пришлось бросить, это было начало второго периода «домашнего воспитания» — опять с учителями, но уже не профессорами, а студентами Московского университета. Не могу сказать, чтобы они много мне дали. Настоящим учителем этого времени был мой дядя, один из двух братьев моей матери, очень известный в то время присяжный поверенный в Туле. Он заболел туберкулезом горла, приехал лечиться у московских врачей и жил с нами, в нашей маленькой квартире. Очень культурный, он, не обращая внимания на моих студентов, вел живые со мной уроки, главным образом по литературе. Я уже читала теперь все, без отцовского выбора, а дядя не только это чтение направлял, но пояснял и давал мне сочинения... на очень трудные, как теперь вижу, темы. Не всегда я с ними справлялась, но он был терпелив. Через год, к несчастью, приехала его невыносимая, полусумасшедшая жена и увезла его в Тулу, где он вскорости и умер.

Я не поправлялась, и одно время мать даже подумывала переселиться всем семейством в Швейцарию, в Лозанну, где жила тогда жена ее второго брата с детьми. Если бы это случилось — не думаю, чтобы мы встретились когда-нибудь с Д. С. Мережковским. Но случилось другое.

Весной, после довольно тяжелой зимы, когда две младшие сестры мои перенесли очень серьезный плеврит, мать решила — не переселиться, а прожить год в Крыму. Мне тогда было уже 16 лет. Была нанята дача около Ялты, на горе, в долине... т. е. над долиной Учан-Су. Она принадлежала генералу (т. е. действ. ст. советнику) А. Н. Драшусову, он был (как я узнала после) учителем А. Ф. Кони. Уже в то время глубокий старик — он занимал мезонин дачи, летом, а весь низ сдавал. Мать моя договорилась на год с его сыном, и в мае мы все двинулись на юг, с детьми, с няней (еще когда-то моей), с теткой и бабушкой. Страсть к путешествиям, к новым местам, юности свойственна. Но у меня оставалась всю жизнь, так же, как и у Д. С. А ехать тогда в Крым в первый раз... Это ли не счастье?

Д. С. в Крыму бывал с ранней юности. Кажется, еще в те времена, когда отец его сопровождал какого-нибудь больного члена царской семьи, но не за границу, а в Крым, и мать успевала уговорить взять «Митию» с собой. Я говорю «кажется», потому что я не помню, как это было в точности. Знаю, что Д. С. бывал и живал в Алупке и в общении с тогдашними ее владельцами. Он навсегда остался влюбленным в Алупку и Ореанду, еще при мне остававшуюся в руинах и запустении. Но у Сергея Ивановича было и собственное имение в Крыму, небольшое, кажется, — в долине Учан-Су, очень близко от самого водопада, и в то время когда мы жили на даче Драшусова, там проживал старший сын С. И. — Константин (в одиночестве и нам совершенно неизвестный). Д. С. там бывал тоже, но раньше этого года. Мать его как-то сказала, при мне: помнишь, как ты там (в этом имении) на балконе вдруг стала повторять: умереть хочу, умереть хочу! — да чуть и не умерла, заболела тогда тифом?

Не знаю, когда было это имение продано. Но к нашей свадьбе его уже не было, и Д. С. гораздо более часто говорил об Алупке, нежели о нем.

Наш год на даче Драшусова подходил к концу, я и сестра чувствовали себя хорошо, но было еще не решено, куда же мы отсюда поедем? Опять в Москву? Ничто не связывало мать мою с Москвой особенно, кроме могилы мужа. Детей учить (в гимназии) рано, меня — поздно. Но и оставаться в Крыму, искать новую дачу — бессмысленно. Мне нравилась эта неопределенность: что-нибудь да будет же, и новое, а значит — хорошее. В Крыму я начинала скучать: не было кругом никого, даже той кузиной московской, которую одну я и любила. Не было и книг. Уроки, которые я давала второй сестре, — надоедали мне. Единственное развлечение — переписка, все равно с кем, лишь бы писать. Когда старик Драшусов уезжал в Москву — я писала ему, и он отвечал, и даже потом сказал, что хорошо, если бы я попробовала вообще что-нибудь писать. Но я писала только бесконечные дневники и — шуточные стихи, на кого попало: на тетку, на старика Драшусова... (тетка эта, старая дева, в него влюбилась). Такими упражнениями я заразила и тетку, и барышню, которая с нами жила, и даже на один раз — мать. Если писали другие — то они оставались втайне.

Было еще одно, довольно жалкое развлечение (это уж под конец) — ялтинский жалкий театр. Шли только оперетки, — но не все ли равно. Гора наша была тяжелая, но я уговорила маму спускаться в Ялту хоть раза два в неделю, в этот театр. Однажды, в сумерки, спускаясь, мы встретили кого-то, к нам как будто едущего, на извозчике. Вернувшись поздно, мы узнали, что был у нас из Тифлиса приехавший второй мамин брат, Александр. Он уже давно жил в Тифлисе — был тоже адвокат и даже издавал газету «Юридический вестник». Вот этот приезд и решил нашу судьбу — мою в особенности.

Переезд нашей семьи на Кавказ разрешал много затруднений и вопросов. Во-первых — вопрос материальный. Дядя был почти богат, он брал к себе бабушку (свою мать) и тетку (сестру). Жена его с детьми вернулась из Швейцарии, и лето мы должны были провести все вместе, в горном Боржоме, — и тут разрешался и вопрос о климате, — о моем здоровье, которое должно было укрепиться. Мои новые кузен и кузина (я их видела только в самом раннем детстве) писали мне восторженные письма о Боржоме.

И в конце мая мы сели на пароход, отходящий в Батум. В том же составе ехали, как из Москвы. Был, впрочем, и лишний пассажир: бабушкина черная

кошка.

Лето в Боржоме с дядиной семьей... Это была, и вправду, новая жизнь. После Москвы, после скучной крымской дачи — музыка, танцы, верховая езда... Для шестнадцатилетней провинциальной барышни — нельзя лучшего и желать. С кузеном Васей, гимназистом, одних лет со мной (будущий думский депутат) мы сразу крепко подружились. Да и природа Боржома — обворожила меня.

Осенью мы переехали в Тифлис, в собственную квартиру. И зимой не было скучно. Мы все, младшие, надеялись, что весной вернемся в Боржом. Но у дяди Александра был странный характер: он был немножко самодур и деспот. Почему-то он решил, что довольно Боржома, надо попробовать и другое место, — например, Манглис. Никто там не был, хорошего о нем слышно не было тоже, но — жена дяди поехала и наняла дачу там.

Добра из этого не вышло. Не буду вспоминать ни этого неприятного места, ни трагического лета. Дядя Александр, приехав на дачу позднее всех, особенно угрюмый (но уже больной) — через две недели там, и умер, от воспаления мозга.

Опять новая жизнь? Почти. Для моей матери, т. е. и для нас, она осложнялась большими заботами. Бабушку и незамужнюю тетку, после смерти дяди, их брата и сына, моя мать снова должна была взять к себе. «Богатство» дяди Александра оказалось доходами с его работы, семье своей он не оставил почти ничего, и жена не могла же брать на себя содержание мужниных родных. После смерти дяди они переехали в маленькую квартиру, англичанка кузины Сони была отпущена, девочку намеревалась мать отдать просто в гимназию.

Мы тоже переменили квартиру. Зиму провели тихо, — смерть, как всегда, перевернула во мне, в душе, что-то очень серьезно. Я много читала, — увы, без всякого руководства, а что придется, что можно было достать. Пристрастилась, конечно, к стихам. А тут как раз началась «надсониада», если можно так выразиться. Только что умерший Надсон проник со своей «славой» и в провинцию. Тифлисские гимназисты, приятели кузена Васи, нас окружавшие, все записали стихи, особенно потому что и я их в то время писала не так мало, — довольно скверные, конечно. Но я отмечу странный случай. Мне попался петербургский журнал, старый, прошлогодний, — «Живописное обозрение». Там, среди дифирамбов Надсону, упоминалось о другом молодом поэте и друге Надсона — Мережковском. Приводилось даже какое-то его стихотворение, которое мне не понравилось. Но неизвестно почему — имя запомнилось, и как... — об этом ниже.

К весне (1888 г.) мы, по молодости лет, оправились от манглисского кошмара и беззаботно стали мечтать о... нашем Боржоме. Было бы бесцельно нашим матерям, моей и кузине, убеждать нас, что время другое, что денег для Боржома теперь нет... Мы бы не поверили, — да и почему в Боржоме жить дороже, чем в Тифлисе. А дачки можно нанять маленькие, дешевенькие...

Так оно и вышло. Две маленькие дачки, обе на горе, но не близко одна от другой, были наняты, и в конце июня (раньше в горные места, от дождей, перезжать нельзя) мы все очутились, наконец, в нашем Боржоме.

Мать Д. С. Мережковского эти последние годы болела печенью, и Сергей Иванович увозил ее в Vichy. Так было и в этот год, когда Д. С. сдал кандидатскую диссертацию и только что издал первую книжку стихов. Ему было 23 года. Но и до этого лета мать, уезжая в Vichy, приберегала какую-то сумму для своего «Ми-

ти», чтобы он мог поехать, куда хочет: знала его любовь к путешествиям. Он уже ездил по России, был у Глеба Успенского и у знаменитого тогда (не знаю чем) крестьянина Сютяева. А еще раньше был ненадолго в Париже с семьей музыканта Давыдова.

В год нашей встречи (1888) он начал путешествие с поэтом Минским, но потом они расстались, когда Д. С. спустился по Военно-Грузинской дороге в Закавказье и случайно (кто-то в дороге же ему посоветовал) — попал в Боржом.

Встретил его Боржом неприветливо: это было в мае — и шел непрерывный дождь. Серое небо, сырость, а гостиницы в тогдашнем Боржоме были ужасные. Да Д. С. еще и не попал в лучшую, «Кавалерскую», а в какой-то просыревший барак. Он хотел уже уезжать. Пошел на почту, спросить, нет ли писем из Vichy, от матери, да и лошадей до станции Михайлово там же заказать можно было. Начальником почтовой конторы был хороший наш, по первому пребыванию в Боржоме, знакомец — молодой латыш Якобсон. Весь год, после боржомского знакомства, я была с ним в деятельной переписке. Стихотворная и вообще литературная зараза нашего юного гимназического кружка очень его коснулась, он вообразил себя тоже писателем и присыпал мне, вместе с красивыми тетрадями для моих дневников, свои «произведения», смешные «стихотворения в прозе». Надо признаться, что мы над ним много насмешничали, хотя, может быть, и два главные наши поэты-гимназисты, Глокке и другой, не помню фамилии, писали не многим лучше. Белобрысый, красноносый, он говорил с акцентом, выговаривая «л» как «л», и звали его «Сила» (как Sila). В силе своей (литературной) он был уверен, и Силой мы звали его потому, что он, убеждая меня однажды выйти за него замуж, сказал: «Вы sila, и я sila; вместе мы горы сдвинем». Я, конечно, этими горами не убедилась, но вот к этому-то Якобсону и попал Д. С., спрашивая письма на имя Мережковского. Наш знаток литературы имя петербургского поэта знал и очень обрадовался слухаю: как, уезжать? Сезон начинается, вы увидите, что такое Боржом. В гостинице вам плохо, переезжайте ко мне. У него была своя уютная и благоустроенная дачка, куда он и перетащил своего нового пленника, за которым всячески стал ухаживать. Прочел его новенькую книгу стихов, конечно. Вдохновившись Буддой, придумал довольно глупую фантазию: попросил гимназиста-поэта Глокке, тоже приехавшего в Боржом, сказать мне, что у него живет буддист из Индии, ходит в халатах и ни с кем не разговаривает. Глокке, всем и всегда покорный, все это исполнил, едва мы, в последних числах июня, водворились на нашей дачке. И вот тут-то произошла странность, которую я не могу сама объяснить: когда Глокке, со своими еще подробностями, рассказал мне про буддиста, у Якобсона, я вдруг сказала: все это вздор. Никакого нет буддиста, ни халатов, а живет у Ивана Григорьевича просто Мережковский. Глокке опешил: кто вам сказал? Но мне никто ничего не сказал, и после «Живописного обозрения», я нигде не видела, не слышала имени Мережковского, да никогда о нем и не думала.

Видя, что тайна раскрыта (или угадана), Глокке мне все рассказал, что знал, прибавив: «Да, Мережковский, я книгу читал, и с ним познакомился. Но он не танцует и верхом не ездит». Последнее замечание еще ослабило мой интерес к поэту (единственное стихотворение в «Живописном обозрении» мне тогда не понравилось). «Но Иван Григорьевич хочет все-таки его с вами познакомить — продолжал Глокке, — вот, в ротонде, в воскресенье. Вы будете?»

Еще бы! Как пропустить танцевальный вечер?

К залу боржомской ротонды примыкала длинная галерея, увитая диким виноградом, с источником вод посередине. По этой галерее гуляют во время танцевальных вечеров, или сидят в ней, не танцующие, да и танцующие — в антрактах. Там, проходя мимо с кем-то из моих кавалеров, я увидела мою мать, и рядом с ней — худенького молодого человека, небольшого роста, с каштановой бородкой. Он что-то живо говорил маме, она улыбалась. Я поняла, что это Мережковский. Глокке уже приносил мне его книгу и уже говорил о нем с восторгом (которого я почему-то не разделяла и не хотела, главное, разделять). Я была уверена (это так и оказалось), что и Глокке, и Якобсон уже говорили обо мне Мережковскому (о нашей «поэтессе», как тогда меня называли), и, может быть, тоже с восторгом, Глокке даже, может быть, читал ему мои стихи. Думала также, что Мережковский их восторга, как я о нем, не разделял. Не последнее, а все это вообще мне было неприятно. Потому, должно быть, когда в зале ротонды, после какой-то кадрили, меня Глокке с М. познакомил, я встретила его довольно сухо, и мы с первого же раза стали... ну, не ссориться, а что-то вроде. Мне стихи его казались гораздо хуже надсоновских, что я ему не преминула высказать. Маме, напротив, Мережковский понравился, и сам он, и его говор (он слегка грассировал).

Однако после первой встречи мы стали встречаться ежедневно, и в парке, на музыке, и у Якобсона, куда он нас с мамой часто зазывал. Но почти всегда разговор наш выливался в спор. Моему кузену Васе, совсем не поэту, Мережковский тоже понравился. Не потому, что писал стихи, а потому, что читал Спенсера.

В нашу компанию вошел новый элемент чего-то более все-таки взрослого. Ведь 23-х летний Мережковский был, однако, старше всех нас. Да и чувствовалось, что он из другого совсем мира, не того, к какому принадлежало и большинство наших «взрослых», — старых. В Боржоме бывала куча всякого сброва во время сезона. Их Мережковский называл «архаровцами» (пошликами) и старался быть от них подальше. Он много гулял один (погода стояла божественная), и я уже знала, что он сочиняет теперь длинную поэму из испанской жизни под названием «Сильвио».

Почтарь Якобсон был, в конце концов, даже рад, что мы с Мережковским не очень дружны, все будто ссоримся. Он стал рассказывать, что Мережковский влюблен в одну тамошнюю барышню, Соню Кайтмазову, которая всегда гуляла одна, с книжкой, не бывала на вечерах, даже на музыке. Эта барышня, очень, действительно, скромная и милая, кажется, была чеченка. Ее темная коса была так длинна, что касалась подола платья — тоже длинного, по тогдашней моде. Мережковский не отрицал, что она прелестна, что они встречаются... Но, как потом он мне рассказывал, она раздражала его живой характер своим тупым молчанием: точно ничего не понимала, о чем с ней говорят.

В это же время в Боржом приехал один недавний наш знакомец, какой-то дальний родственник моего отца, А. И. Гиппиус. Приходился он мне дядей, но таким дальним, что в шутку он звал меня «тетушкой» и, между прочим, имел намерение на мне жениться. Он был ко мне очень мил, но его намерение меня не трогало. Он мне казался «старым» — больше 30 лет! И хотя он мне подарил все сочинения Надсона — чувствовалось, что мы с ним не пара, любой гимназист был мне как-то веселее.